

Интервью с сыном Ромэна Гафановича Станиславом Назировым

Беседовал главный редактор журнала «Назировский архив» Борис Орехов.

Борис Орехов: Мы пытаемся восстановить биографию Ромэна Гафановича, в том числе и, так сказать, его повседневную историю. Как он взаимодействовал с коллегами? Мы частично это видели или что-то нам рассказывали. Что-то я видел сам, как он общался, например, с соседями, когда я приходил к нему. Это было потрясающе, потому что мне вот казалось, что люди в таком бытовом общении, которые вокруг него существуют, они ему не ровня, они как-то ниже по уровню. Тогда я был младше, максималистом в каком-то роде, конечно, для меня это был идеал недостижимый, профессор, учитель. С другой стороны, он выходил курить, с кем-то говорить, и общался совершенно свободно с простыми людьми. Потом, читая его дневники, я лучше понял, почему так происходит. Потому что он в молодые годы никогда не ставил себя выше, что я вот прочитал больше, и я якобы лучше других людей. Это очень хорошо видно по каким-то его ранним записям. Но они довольно быстро прерываются. После 71 года Назиров больше не ведет дневника регулярно, и что было до этого мы более-менее знаем. Но не все. Например, он довольно много пишет про свою личную жизнь, про ощущения того, что происходит в России, в мире, в политике, но ничего не пишет про обучение в университете, как будто этого нет, как будто это что-то неважное. Такого довольно много. Видно, насколько фокус внимания смещается.

Может быть, начать с бумаг, с архива. Вы, наверное, должны были наблюдать, как он появляется, как он растет. И где-то они хранились дома, эти бумаги. И было ли к ним какое-то особенное отношение, допустим, охранительное, что вот сюда не смотреть. Или просто лежит бумажки и лежат.

Станислав Назиров: Ничего охранительного не было точно совершенно. Потому что со стороны кажется, что он пишет и пишет, бумаги накапливаются, папки растут на столе. Он же сидел в той большой комнате все время. И весь этот стол, который в праздники раскладывался как обеденный, он был у него рабочий. И это все выросло. Отношение

к этому как к будущему архиву или к чему-то цельному, какой-то работе, мне вообще это не понятно и не видно. И на самом деле по каким-то обрывкам текстов, или что-то он сам давал почитать — он вытаскивал откуда-то несколько листочков, давал посмотреть, но это все было настолько из разных областей, что сказать, что вот этот блок, это здесь, это здесь, это здесь — было невозможно. Я для себя не представлял, чтобы он целенаправленно писал дневники или создавал архив будущий — у меня нет таких воспоминаний. Возможно, оно было, но для меня — папа сидит работает, и все.

Б. О.: То есть нельзя сказать, что он пытался это специально охранять, просто были рабочие записи. . .

С. Н.: Нет, я не помню такого. Да! Сейчас, сейчас. . . Нет, был какой-то шкаф, который был заперт на ключ. . .

Б. О.: В маленькой комнате?

С. Н.: Ну у нас же как, у нас жизнь делилась на жизнь с тетей и жизнь, когда тетя переехала. В каком году это было, я не помню, но это было, по-моему, в начале восьмидесятых. Но тогда из большой комнаты переехал не кабинет, в большую комнату просто ушла их спальня, в маленькую, в смысле, из большой. Какие-то шкафы и бумаги, наверное, тоже переехали, безусловно.

Б. О.: Дина Гафановна жила в маленькой комнате?

С. Н.: Да. Она жила в маленькой комнате, а большая была спальня и кабинет, все вместе.

Вот, по-моему, был этот шкаф, который был заперт на ключ, но ключ, по-моему, все равно был в скважине.

Б. О.: Ну, то есть, чтобы просто не мешалась дверца, а не что это был секрет.

С. Н.: Ну да, я не помню, чтобы. . . Врать не буду. Сказать, чтобы это было что-то особо охраняемое, что он берег от глаз чужих, я не припомню.

Б. О.: А как вы вообще относились к этому в то время? Что вот много бумаг, они копят. Действительно ведь огромные получились объемы. Чтобы теперь их хранить, нужна специальная комната, в БГПУ она выделена, это действительно очень много всего. Это было частью пейзажа или вам было любопытно, что там внутри?

С. Н.: Ну, на самом деле, поскольку это было с самого детства, то это было органично с самого начала.

Б. О.: Как стук колес.

С. Н.: Да. Поэтому ничего необычного или странного в этом не было. Это было только постоянное наблюдение того, что человек находится в процессе письма. Что это было? Наверное, я задавал такие вопросы. Но не буду сейчас врать, не буду сочинять его ответы. Он же был педагог. Педагог, наверное, по моей логике, должен прочитать кого-то, запомнить

это и пойти донести до других. Чем же ты занят, папа? Созданием какой-то параллельной реальности, еще одной. Но я не помню, были ли такие мысли в детстве, появлялись ли они.

Какие-то вопросы если возникали, он отвечал, доставал какие-нибудь книжки, показывал. Обожал я у него французский Larousse с истертой обложкой, и там были иллюстрации, который я доставал тайком, потому что мне нужны были мундиры наполеоновской армии. Вот, кстати, где у нас с ним был контакт — я увлекался наполеоновской историей, и вот в этом он мне помогал. Помню, когда я уже стал постарше, в «Знании» на Ленина я увидел книжку на польском. По-польски, я естественно, не читал, но увидел, что написано «Наполеон», я ее купил и принес ему. И в этом смысле контакт был, потому что про Наполеона у него тоже очень много материалов.

Б. О.: Еще даже до студенчества, еще только закончив школу, он собирался, во-первых, стать историком, а во-вторых, написать о Великой французской революции большую книгу, первоначально, видимо, историческую, потом и художественную, вероятно, тоже. Возможно, что художественная книга есть, я не видел просто. Кажется, что-то про Марата есть. В общем, вся эта история про Великую французскую революцию до Наполеона, который являлся финалом всего этого, его очень увлекала, действительно. И по-польски-то он читал. В дневниках есть просто переводы из польских газет. Он действительно много занимался этим, особенно когда сельским учителем был.

Получается, что он иногда что-то показывал из своих записей?

С. Н.: Да. Причем мне кажется, что мы уничтожали вот эту кипу с черновиком повести «Красный Бонапарт». Не помню как было, либо я успел что-то прочитать, буквально пару страниц, либо он мне сам это пересказал, когда я спросил, почему мы это уничтожаем. Не помню, что он ответил, но, очевидно, если мы уничтожали, значит, в этом не было надобности больше.

В повести была изображена личность с характером, нравом Наполеона, но который существовал в ситуации гражданской войны. Ни сюжета, ни каких-то деталей я не помню.

Б. О.: Вполне возможно, что это был просто один из черновиков и другой вариант остался. Для каждого художественного произведения, и не только художественного, Ромэн Гафанович всегда делал много-много вариантов. Для нас сейчас это потрясающе, потому что пользуемся компьютерами, он переписывал все это много раз, по семь раз. Для художественных произведений не все черновики сохранились, но что касается научных произведений, то сначала это какие-то заметки, потом это развернутый план в тетради. Потом это от руки написанный текст

на листе А4, несколько раз, в нескольких вариантах, какие-то более сокращенные, какие-то более пространные. Потом перепечатано на машинке. Как это все было возможно и в какое время это умещалось, совершенно непонятно. У вас были какие-то воспоминания, как получалось, что Ромэн Гафанович столько успевал?

С. Н.: Ну он же работал ночами. Он спал днем.

Б. О.: Но ведь он должен был еще преподавать. . .

С. Н.: Я попытаюсь сейчас восстановить его график. Я не помню, что у него были пары в девять утра, наверное, в то время несколько позже. Он просыпался, шел на пары, возвращался, обедал, ложился спать. Вечером просыпался и садился на всю ночь. Потому что никто не мешает, это сокровенные часы, они были самые тихие. С другой стороны, это просто сдвинутый режим, такой расчлененный какой-то. Даже если он спал по два раза, хватало ему времени выспаться или нет, не знаю.

Б. О.: А вот тот момент уничтожения какой-то части архива с вашей помощью — он примерно на какие годы приходится, когда это произошло?

С. Н.: Я думаю, что это было начало восьмидесятых. Я это помню, значит, это не семидесятые. Это начало восьмидесятых, наверное, до 85–86 года.

Б. О.: В архиве, так получается, на поверхности, наиболее заметная его часть, приходится на начало семидесятых годов. Такое впечатление, что именно в это время Назиров сделал больше всего, в остальное время его активность была меньше. Но это просто иллюзия в силу того, что он оставил, не уничтожил те материалы, статьи, книги. Но есть ведь на самом деле главный вопрос, вообще самый главный. Потому что в разном общении, коллег между собой и так далее, есть одна очень известная всем история, связанная с вами. Ромэн Гафанович ее периодически пересказывал, и она звучит действительно весьма своеобразно — кажется, что не в любой семье такое может произойти. Ромэн Гафанович несколько раз рассказывал разным людям, мне нет, но мне много кто пересказывал, про то, что однажды с вами повздорил из-за трактовки «Гамлета». Расскажите все-таки, что же там было, что это за история?

С. Н.: Да, я помню это. Наверное, вот что. Поскольку в молодости мы все являемся ниспровергателями, разрушителями, нигилистами, циниками и всем прочим, то. . . Я просто очень много «Гамлетом» занимался и на самом деле втайне, где-то в душе продолжаю лелеять мечту о том, что я когда-то все же что-то сделаю. Но мысль о том, что Гамлет «Из жалости я должен быть суровым / Несчастья начались, готовьтесь к новым» . . . может быть, речь шла о том, что по мне Гамлет все-таки скотина, фашист. При всем том, что он образован, высоко интеллек-

туальный тип, все у него прекрасно, он элита, при этом это человек, у которого разрушается душа. Я не первооткрыватель, трактовок куча. Все трагедии Шекспира не о том, что человек умирает, а о том, что умирает его душа. Отелло погибает не потому, что он задушил Дездемону, он превратился в другого человека, в плохого. И Гамлет в результате превращается в плохого человека, потому что убивает всех вокруг себя, все разрушает, и государство гибнет в результате его действий. Потому что папа-Гамлет натворил кучу всякой ерунды, а убивший его брат Клавдий эти политические ошибки исправляет, извините меня, дипломатическим путем. Но Гамлет в порыве мести разрушает не только убийцу своего отца, он разрушает мать, страну, государство, все остальное, и этот его протест влечет за собой гибель гораздо большего количества людей и краха всего вокруг. И мы сейчас не говорим про все сентенции, которые он там провозглашает, это понятно, это все оправдание персонажа — я это делаю потому, что у меня благородные порывы. Поступки при этом оказываются совершенно разрушительными.

И может быть на этой почве, потому что, как я могу вспомнить, отец склонялся все же к более романтической трактовке персонажа.

Б. О.: К более традиционной.

С. Н.: Да. И потом, когда я поступил в институт, у нас действительно были конфликты.

Б. О.: Это не единичный случай?

С. Н.: Нет, я помню, что когда приехал на каникулы, мы с ним поссорились так, что я собрал вещи и ушел к брату, и отца не видел до самого отъезда. В тот раз мы поругались по поводу того, что «вы интеллигенция». Он сказал, что мы интеллигенция, а я сказал, что вся интеллигенция уехала в 24 году на французском пароходе, а вы «просто много книжек прочитали и взяли на себя эту нелегкую обязанность». Это было в девяностые годы уже. Наверное, это было чистое противоречие, соперничество. Тут с моей стороны был совершеннейший детский сад.

Б. О.: А про Гамлета было раньше или позже?

С. Н.: Это были девяностые. Я уже поступил в институт. Соответственно, это было с 89 по 93 год. Но это не было ссорой. Вот когда мы поругались насчет интеллигенции, это мы поругались. Может, там были какие-то эмоции, может быть я назло стал кричать, что Гамлет фашист и скотина, но я не помню это буквально, так, как оно происходило. Мне просто хотелось противоречить.

Б. О.: Но это тоже важно, да? Ведь Ромэн Гафанович мог ничего не рассказывать, а он рассказывал многим людям про это...

С. Н.: Но это не была ссора, это был спор.

Б. О.: Он мог сделать акцент на том, что это была ссора, с некоторой может быть гордостью внутри. С другой стороны, он мог воспринять это как ссору и тяжело это переживать. По-

этому важно понять, как это им воспринималось.

С. Н.: Ну, я не думаю о том, что это была ссора. Может быть, это была жаркая дискуссия, но которая ни в коем случае в конфликт не переросла. И я думаю, если он постоянно об этом говорил, он это говорил именно с удовольствием. Потому что это не было конфликтом, не могло быть.

Помню, когда я еще учился в школе, заканчивал или ближе к окончанию, зашла речь о Толстом, и я сказал, не из желания понравиться папе, что мне не нравится Толстой, что он слишком назидателен. И тут он — «ну да, в нем есть дидактичность». Я помню вот такие милипусечки, сегменты разговоров. И он тогда со мной согласился. Ну как согласился, с высоты своего... но он никогда не общался таким образом: «Вот, ты, мальчишка, в угол!» Нет, такого не было. Мне кажется, со мной он был, как и с соседями, которые не читали Достоевского, совершенно демократичен и спокойно воспринимал все, что ему говорили.

И что касается, Гамлета, это не было ссорой. Нет, это, может быть, была дискуссия, которая его завела, задела, и в этом была отправной точкой каких-то других размышлений, в другую сторону, может быть, ему это было даже интересно и помогло, потому что о Гамлете можно бесконечно разговаривать, ты снимаешь один слой, а за ним другой, третий, и они не заканчиваются. Просто в тот момент у меня было такое видение, и оно было перпендикулярно его видению.

Б. О.: Так выглядит, как будто бы те споры, которые у вас были, они складывались потому, что у вас было мнение скорее несколько новаторское, ближе к необязательно ниспровергающему, но ближе к полюсу, а у Ромэна Гафановича была точка зрения чаще более консервативная.

С. Н.: Да, да, это так, это правда, он все-таки был более консервативен.

Помню, была такая история. У нас на курсе был спектакль «Дядя Ваня», который ставил один знаменитый артист, который был у нас педагогом. А у меня лежала отцовская статья по «Дяде Ване». Я был назначен на роль Дяди Вани. Наш педагог стал репетировать с нами. Но многие артисты, которые репетируют с режиссерами, не умеют формулировать задачи, они эмоционально подходят к постановкам, и когда я спросил почему вот так, он ответил мне «по кочану», я пошел к своему худруку и попросил, чтобы играл кто-нибудь другой. В итоге Дядю Ваню играл мой однокурсник Сережа и я по доброте душевной подсунул ему статью отца. Сережка прочитал, мало того, он еще дал прочитать нашему педагогу, а потом вернул мне статью со словами «Нам показалось, что все это банально».

Во мне, несмотря на то, что я тоже мог относиться к этой статье по-своему, это высказывание про статью папы вызвало отрицательную реакцию.

Это к вопросу о том, что у него был классический подход.

Б. О.: Так получается, что вы читали что-то из его работ? Потому что это ведь не обязательно должно было быть.

С. Н.: Что-то я читал. Но он никогда ничего своего не давал-«вот возьми-ка, почитай». Никогда такого не было. Только если у меня возникал какой-то вопрос, он на него отвечал и, если что, присовокуплял к этому какой-то текст, свой, или доставал какую-то книгу, где у него было отчеркнуто или заложено. Сам никогда мне не говорил: «вот, возьми-ка, приведи свои мозги в порядок».

Б. О.: Это очень интересно. Потому что мы же представляем себе, как были устроены его отношения с учениками. Не то чтобы нам доступна информация обо всех поколениях, старшие коллеги все-таки не очень активно идут на контакт-я столкнулся с тем, что хотел бы взять интервью у разных людей, но у меня не получается.

С. Н.: А почему?

Б. О.: Не знаю. Думаю, тут нет одной причины. Во-первых, кто-то может быть не согласен, потому что моя репутация неоднозначна. В академическом сообществе, как в разных других замкнутых сообществах бывают разные локальные конфликты. Одно дело, что я пишу в своих научных работах, другое, как коллеги ко мне относятся как к человеку. Может быть, я виноват.

С другой стороны, для кого-то это может быть не настолько важно — дело прошедшее, прошлая жизнь, был и ушел. Ну а кто-то, может быть, не хочет что-то раскрывать. Может быть, ему кажется, что это часть его личной истории, которая больше никого не касается.

Нам удалось получить некоторые тексты личных воспоминаний. Может быть, интервью проще, поэтому я сейчас обычно прошу об интервью, нежели о том, чтобы написать текст, разным людям бывает сложнее писать, чем говорить. Но все равно кто-то просит отсрочки на полгода, потому-то полтора часа на интервью не может выгадать, кто-то просто перестает отвечать на письма.

В общем, с этим не все так просто. Поэтому мы восстанавливаем всю историю по крупицам. Конечно, время, когда есть дневники-проще, потому что там рассказано многое. Но в 71 году дневники прекращаются и дальше не очень понятно, что происходит. Но мы сами, я, Сергей Шаулов, мы были в каком-то контакте с Ромэном Гафановичем, какое-то время мы успели у него поучиться, именно научной работе, не просто в аудитории, когда он приходил и что-то рассказывал, принимал экзамен потом. А мы, действительно, приходили к нему домой,

обсуждали какие-то наши научные тексты, уже тогда существовавшие, курсовые работы. И первое и главное, на что мы обращали внимание — он давал полную свободу. Эта свобода такая, что при других обстоятельствах, в другом случае, ее можно было бы перепутать с равнодушием. Но это не было равнодушием, потому что, все-таки, если человек приглашает тебя к себе домой и с тобой разговаривает, это точно не равнодушие. Но при этом это не авторитарное управление, не тот случай, когда тебе говорят — обязательно нужно сделать так, так и так, а если не сделаешь, не знаю, я обижусь. Нет. До некоторого времени я мог выбирать любую тему, которой хотел заниматься, и это поощрялось. И никаких укоров со стороны Ромэна Гафановича не было.

Это очень интересно, что с одной стороны мы видим, как Ромэн Гафанович обращался с учениками, а он и во мне и в Сергее Шаулове видел учеников, он даже явно говорил, кто и в какой последовательности пойдет у него в аспирантуру. В общем, мы понимаем, как это все происходило. И любопытно сравнить с тем, как это было в каком-то другом диапазоне. Получается, что и семейный воспитатель Назиров тоже был таким?

С. Н.: Один момент сейчас вспомнил. Он никогда не подсовывал Достоевского, хотя я с детства знал, что он сидит над Достоевским. Впервые он дал мне Достоевского, когда я лежал в больнице, это было «Село Степанчиково», это было первое, что он мне дал. Не помню, то ли это сам потом сказал, что это было самое простое, легкое и смешное, потому что я, естественно, дико смеялся. И это был такой мягкий вход. После этого он мне однажды помогал писать сочинение по «Преступлению и наказанию». Ну как помогал, я написал, он посмотрел, не корректировал, ничего, просто абзац один написал и все, я включил его в сочинение. В этом смысле все было мягко и без всякого нажима.

Б. О.: Это других сочинений тоже касалось?

С. Н.: Нет, нет. По моему, я потом даже бросил и больше ничего ему не показывал. Я писал сочинения как художественную литературу. Я писал тоже какие-то рассказы, и он периодически их читал, я не помню его реакцию сейчас. Естественно, когда ты видишь, что у тебя всю жизнь перед глазами писанина, а это же творчество — писанина в хорошем смысле — ты тоже творчески включаешься, хочешь подражать этому процессу. Поэтому я себе иногда позволял и позволяю сейчас, уже со сценариями. Но этот навык, если он был передан, то был передан без всякого нажима с его стороны, без всякого требования.

Б. О.: Есть трагическая страница в истории вашей семьи: арест и расстрел Гаффана Шамгуновича Назирова. Как-то про это говорили дома? Или не принято было говорить?

С. Н.: Очень скупо. Мне кажется, Дина об этом говорила больше, чаще, отец нет. Понятно, что обо всем этом знали, и еще до перестройки имя Сталина в семье употреблялось исключительно в отрицательном смысле. У меня была история, в начальной школе, в первых классах. У нас была классной руководительницей Елена Павловна, фронтовичка. На уроке мы разбирали про Кирова. А я и сказал: «А Кирова убил Сталин». Не помню сейчас точно, но, по-моему, Елена Павловна имела разговор с отцом, но никакого взыскания, естественно, дома ко мне применено не было.

Б. О.: Про Сталина — это очень сложная история. Потому что Ромэн Гафанович был, как и любой советский человек в то время, до самой смерти Сталина, вполне приверженцем сталинизма. Потом начал осознать. Ну и кажется, что к финалу Советского союза он совсем разочаровался в советском. И как он переставал быть сталинистом (в хорошем смысле, естественно). По дневникам видно, как он становился человеком Оттепели — а он, кажется, очень принял оттепель, был с ней в резонансе. Причем по мере разочарования в Хрущеве всех — он и сам разочаровался в Хрущеве. Когда пришел Брежнев, и к нему относились немножко настороженно, но скорее положительно, все, — так и Ромэн Гафанович к этому относился. И он в хорошем смысле был как все, он все это переживал, ему не было все равно. Но как он в последующие годы разочаровался в советском — этого по дневникам не видно. А чувствовалось ли это в каком то личном общении, в семье?

С. Н.: Я не помню, как это происходило. Это был 84–85 год. Я не помню каких-то гневных проклятий в адрес советской власти. В принципе, мне кажется, разочарование пришло да, давно. И ничего нового перестройка в этом смысле не принесла.

Когда умер Брежнев, у меня одноклассник был, его мама была завучем. Известие о смерти Брежнева, естественно, прошло по всем каналам. Ко мне на перемене подошел одноклассник и сказал: «Радуйся, Брежнев умер». Это значит только одно — то, что говорил папа, то, что я говорил в школе — никого за это не сажали. И 85-й, перестройка — это был последний гвоздь, и ничего кардинального в этом смысле в отношении отца ко всем этим делам не произошло.

Б. О.: То есть вы уже застали ситуацию, когда...

С. Н.: Когда все были к этому готовы психологически, говорили — советская власть ерунда и пошли вы все! Это сейчас мы понимаем, что вместе в партийной системой было разрушено целое государство, но это другой взгляд.

Я 31 декабря был на Красной площади, когда спускали флаг Советского союза. Это был 91 год. Видел пьяную девушку, которая валялась перед мавзолеем и говорила: «Дедушка Ленин, прости!» На нее все

смотрели как на идиотку. Спустя годы мы поняли, что вместе с водой мы выплеснули и ребенка.

Но что касается всей этой коммунистической идеологии, почва была подготовлена абсолютно, никакого переворота глобального в 85 году не произошло.

Б. О.: То есть все это произошло когда-то раньше?

С. Н.: Конечно.

Б. О.: А вообще для Ромэна Гафановича в пятидесятые-шестидесятые политика значила очень много. Он читал газеты. Как любой, наверное, советский человек, но он делал конспекты политических событий. По дневникам очень хорошо можно проследить все, что происходило в мире. Причем не только выступление первых лиц государства, нет. В Тунисе война, в Алжире неспокойно, во Франции на выборах победили социалисты — все это он очень прилежно записывал, за всем следил.

С. Н.: Комментировал.

Б. О.: Комментировал довольно скупое, не аналитически, а, так сказать, «хорошо-плохо», «будем смотреть дальше».

С. Н.: Да-да-да, я что-то читал про Британию.

Б. О.: И я так понимаю, что в восьмидесятые годы уже нет, уже ничего такого, в семье это не обсуждается, все это в стороне. А как в семье говорили про репрессии, как вспоминали, что-то проскальзывало в разговорах?

С. Н.: Ну, то что деда расстреляли, это было однозначно.

Б. О.: А остальное не важно.

С. Н.: Ну да — а дальше что.

Б. О.: Ромэн Гафанович его немного помнил, совсем немного. У него сохранилось воспоминание о том, как они на служебной машине ездили куда-то на Дёму, на речку. Это в дневнике есть такое упоминание. В дневнике есть запись о том, когда пришла реабилитация. Эмоций по этому поводу почти нет.

С. Н.: Он был сдержанный человек.

Б. О.: Ну, не всегда и не во всем. Действительно, то, что касается личной жизни, в основном да. Он, мне кажется, ярко и активно реагировал на какую-то несправедливость, и его задевали какие-то сугубо культурные вещи. И вопрос про Гамлета — он тоже неслучаен. Ну, бывало, что в аудитории он раздражался, на кого-то мог и накричать. Я был свидетелем этого. Другое дело, что может быть это был педагогический прием, например, чтобы сейчас всех приструнить, чтобы потом не шалили.

С. Н.: Помню, был такой рассказ, он сам рассказывал, как он выгнал студентку с экзамена. Он пришел с экзамена и тут же рассказал, как

анекдот. Значит, берет какая-то девушка, блондинка по нашим временам, билет с вопросом про «Идиота». Он ей: «Садитесь». Она садится и говорит: «Раскольников...» — «До свидания!»

А насчет того, когда он возбуждался. Был у нас друг семьи, дядя Лёня Гоголев. Не помню, как они были связаны, с детства росли где-то поблизости. Дядя Лёня Гоголев был такой вахтовик, буровик, геолог, который ходил в унтах, в зипуне, но при этом был человек тонкой душевной организации, тонко любивший литературу, поэзию, и приходивший всегда к нам в гости поболтать. И это было очень часто, он приходил к отцу. Обычно они начинали говорить тихо-мирно, потом у них начинался спор, и они разругивались так, что орали друг на друга, не матом, конечно. Ругались страшно, дядя Лёня уходил хлопал дверью. Мама выбегала: «Ну что ж такое вы опять творите?» То есть приходил друг детства, начиналось все за здоровье, а кончалось совершенно полной руганью. Причем руганью на темы, касающиеся литературы. И это было постоянно.

Б. О.: То есть страсть была?

С. Н.: Да, вот здесь он заводился, да. Здесь он заводился страшно, это правда.

И дядя Лёня он был с золотыми зубами, у него и наколки были, то есть это был такой персонаж из семидесятых годов, в зипуне, но при этом читавший все. И ведший с отцом диалог в этом смысле на равных. И поэтому они не находили точек соприкосновения, потому что им нужно было обязательно дойти до точки. Может это и было их целью на самом деле!

Б. О.: А про закрытость — она внутри семьи тоже чувствовалась?

С. Н.: Ну да, все-таки была в нем некая законсервированность.

Б. О.: А были какие-то слабые точки, может быть, вы вспомните, где она прорывалась? Видно, что человек закрыт, а, допустим, приходит кто-нибудь, типа старого друга семьи, или какая-то тема вдруг возникает и тут вдруг видно, что раскрывается человек?

С. Н.: Когда у нас были кошки, он ходил в какой-то старой кофте, а кошки же любят откусывать вот эти старые комочки шерсти, кошка, не помню уже, которая из них, откусывала эти комочки, и он ходил весь полный умиления: «Ой, ты моя, сю-сю-сю!» Это было трогательно, да. Но на самом деле в семье вот такой вот трогательности не было.

Б. О.: Он довольно давно написал докторскую диссертацию, еще в начале восьмидесятых годов. И не защищал ее, скорее всего, как мы видим в архиве по разным документам, по каким-то собственным соображениям. Не то чтобы ему кто-то не давал. И кажется, что когда это все-таки произошло в девяносто четвертом году, было результатом некоторого внешнего давле-

ния.

С. Н.: Мама ему постоянно клевала макушку.

Б. О.: Когда видели этот процесс письма, вы не разделяли это, «папа пишет», а что там, художественное или нет. . .

С. Н.: Нет, это не было понятно.

Б. О.: А то, что в архиве есть множество художественных произведений, для вас неудивительно?

С. Н.: Нет, на самом деле, удивительно. Когда мы уничтожали «Красного Бонапарта», я понял, что это проза, тогда меня это удивило, потому что я был в полной уверенности, что он занимается исключительно литературоведением.

Ещё Ромэн Гафанович любил петь. Когда выпьет.

Б. О.: Правда, у него не очень получалось.

С. Н.: Нет, какие-то вещи у него получались. Что-то такое он залихватское пел, ковбойское. «Ай-ай-ай, в глазах туман, кружится голова» — тоже из его самых любимых. Вот эти две самые запомнившиеся в его репертуаре песни. Иногда он рассказывал очень дурацкие анекдоты, какие-то детские. Я не помню дословно, но несмешные. Но сам при этом был доволен.

Б. О.: Много ли он рассказывали интересного такого, что не имело, так сказать, прагматической пользы? То есть, можно было и не рассказывать.

С. Н.: Да, это может быть.

Б. О.: Мы всегда считали, когда общались с Ромэном Гафановичем, что такой типичный гуманитарий, и разные науки, тяготеющие точным, его не очень интересуют. А по архиву видно, что не совсем так. Все-таки его интересовали лингвистика какая-нибудь, которая совсем не гуманитарная наука, и математика, но в такой специфической манере.

С. Н.: Да. С точки зрения интересного исторического факта, связанного с чем-то. Например, что потрясающий закон Бойля-Мариотта открыт тогда, когда, например, ему на голову упали часы. Грубо говоря, когда это тоже превращается в некий анекдот.

Б. О.: А Ромэн Гафанович был скорее веселый или серьезный человек?

С. Н.: Серьезный. Мне кажется, серьезным. Нет, когда были застолья, он, наверное, расслаблялся, раскрывался, и душа начинала у него подпевать. Но в общем, он все равно, мне кажется, был закрытым.

Б. О.: То есть, застолья — это было такое специальное время, когда он мог себе позволить быть. . .

С. Н.: Ну да. Я помню, что он выпивал рюмку чего-нибудь спиртного, и остатки, капли, выливал мне на голову. Не в смысле издевался, а чтобы я лучше рос.

Б. О.: Он знал языки. Не пытался он вас учить испанскому, немецкому, польскому?

С. Н.: Он, может быть, только пытался научить меня рисовать. У него же много рисунков. Профили Пушкина, автопортрет. Мы с ним... не занимались, нельзя назвать это занятием. Это были какие-то моменты отдыха, когда он не то чтобы приходил ко мне — вот, давай порисуем, — такого вообще не было, никакой дидактики, никакого назидания я не помню.

Б. О.: Что было по воскресеньям? Понятно, что в будний день Ромэн Гафанович поздно просыпался, шел преподавать, возвращался, потом снова спал, вечером, наверное, было какое-то семейное время, потом была ночь, когда он снова работал.

С. Н.: У меня был однокурсник Саша, и они с его отцом были прям вот не разлей вода. И мы как-то разговаривали, я ему говорю — вот как ты с отцом, а он мне — а ты как же? Тогда он меня спрашивает — а что ты вместе с ним делаешь? И я понял, что у меня нет ответа, я с ним вместе ничего не делаю. Иногда он брал меня с собой, мы шли на лодочную станцию «Юность», он греб, мы доплывали до пляжа за мостом, там купались и спускались обратно. Но это было не так часто. Наверное, из всех воспоминаний детства это было единственное дело, которое мы делали вместе.

Дело в том, что, может быть, он не знал, что делать со мной или с детьми вообще. Я сейчас совершенно отстраненно от этого рассуждаю. Может быть, он был настолько погружен в литературу, что весь окружающий мир для него был в общем-то какой-то другой реальностью, не столь значимой, не столь интересной. Дети — да, мы были его сыновья, но это было как «так должно быть».

Б. О.: А печатная машинка стучала?

С. Н.: Стучала. У него была какая-то старая машинка, черная такая. Потом появилась электрическая, либо он ее брал.

Б. О.: Говорил он дома о том, что происходит на работе?

С. Н.: Было ощущение, что кто-то там ему не благоволит совершенно. Не то чтобы кто-то ему постоянно вставляет палки в колеса, но такое ощущение было. Может, у него была мания преследования? Не знаю.

Б. О.: Ну, скорее, неуживчивость. В газете ведь тоже было так, был Гальперин, который все «делал не так».

С. Н.: Какие-то разговоры были. Не то чтобы каждый вечер — вот, меня зажимают, но эту тему я помню.

Я точно помню — за диссертацию боролась мама. Это она постоянно об этом говорила, твердила, висела у отца на шее, заставляла его.

Б. О.: А он как-то отвечал, говорил, почему нет? Или просто отмалчивался?

С. Н.: Не помню. Ощущение, что весь его ответ был — мне это не надо. Но что за этим крылось, я даже не берусь судить.

Б. О.: Диссертация действительно давала ощутимые бонусы в советское время. Докторская степень была огромным шагом вперед в смысле материальной обеспеченности. Собственно, злая ирония в том, что, когда он это сделал, это было уже не так важно.

Это очень здорово, что вы вспомнили и про «Красного Бонапарта», и то, что был такой эпизод в восьмидесятых, когда было уничтожено какое-то значительное количество бумаг. А какой там объем был, не помните?

С. Н.: Не гигантский. Что-то он, по-моему, пытался в раковине жечь. Но в основном мы это дело рвали и выбрасывали в мусорное ведро.

Б. О.: То есть это был объем ведра примерно? Или меньше? Папка, например, коробка? Примерно, не то чтобы требуется аптекарская точность.

С. Н.: Нет, я не помню точно. Но если он позвал меня на помощь, то, значит, ему эта помощь была нужна. Не думаю, что он позвал меня на помощь, чтобы я увидел, как папа справляется с трудом многих лет и чтобы я вклинился — папа, что ты делаешь? Объем я не вспомню.